**Служение правде**

Анатолий Знаменский

О творчестве Федора Абрамова, образной системе "Пряслиных", повестях "Безотцовщина", "Деревянные кони", "Пелагея", "Алька" и других произведениях говорилось в критике и литературоведении много — все это настоящая, большая литература, отражающая и выражающая недавний и нынешний день нашей жизни, наших исканий.

Обо всем говорилось и писалось с большим знанием дела и специальной подготовкой, так что ныне трудно добавить нечто свое, не повториться. Но в данном случае такой человеческий феномен, что и всего сказать о нем почти что невозможно. Мало, в общем-то, было сказано о личности писателя, неистовости его сердца, когда он привлекал внимание общественности к своим землякам и крестьянству вообще: "Уходит последнее поколение!" О вечной его озабоченности, сказавшейся и в книгах, и — наиболее явно — в статье "Чем живем-кормимся", опубликованной в "Правде". Надо было видеть и слушать Абрамова с трибуны последнего писательского съезда в Большом Кремлевском дворце, когда он ополчился против псевдоинтеллектуальной прозы, обозвав это недостойное писателя рукоделие "нравственным стриптизом".

А.П.Чехов как-то написал в письме или дневнике: "Пока есть Толстой, легко и приятно быть русским писателем..." Не это ли чеховское чувство счастливой причастности к большому искусству владело многими из нас, когда летом 1964 года в Краснодар приехала на кустовое совещание (или, как принято было говорить, "форум") большая группа известных писателей России, и в их числе Ф.А.Абрамов?

Он, правда, был не намного старше нас по возрасту (всего 3-4 года!), но уже тогда был "маститым", мастером и автором романа "Братья и сестры", повести "Безотцовщина" и другой, сильно нашумевшей — "Вокруг да около". Мы же, как это заведено, ходили в "молодых" едва ли не до сорока лет.

По поводу последнего произведения Абрамова некоторые критики повели в печати такую оглушительную "полемику", которую точнее было бы назвать проработкой и предвзятой руганью. Что касается художественного уровня вещи, то и недружелюбные критики не могли предъявить никаких претензий.

За давностью лет не могу точно восстановить факта, но, по-видимому, отголоски той проработочной критики коснулись и нашей кубанской прессы. Именно поэтому мне как читателю (притом квалифицированному, понимающему суть вопроса еще и с точки зрения бывшего экономиста) хотелось сказать несколько похвальных, а возможно, и ободряющих слов Федору Абрамову, что, впрочем, вполне естественно. Тем более что у меня в это время лежал — почти без движения — в издательстве роман "Как все", о первых попытках бригадного подряда в промышленности. Но как литератору в данном случае мне просто хотелось и познакомиться с ним.

Я подошел и назвал себя.

Бывший фронтовик Абрамов на передовой видел, наверное, не только своих земляков, уроженцев Севера, весьма строгих и щепетильных в части знакомства или случайной беседы с неизвестным человеком. И поэтому проявил достаточно терпения, слушая мои высказывания о повести "Вокруг да около", писательской работе вообще...

— Таков удел писателя, если он озабочен всерьез, — усмехнулся Федор Александрович. И в его выразительном взгляде я прочел невысказанный вопрос: "Вы, как я вижу, тоже писатель, но фамилия ваша мне пока что ничего не говорит..."

Я понимал, что два моих романа в периферийном журнале вряд ли могли служить здесь визитной карточкой, но все же назвал их. — Вообще-то, я не поклонник этого журнала хотя бы по возрасту, но некоторые наши студенты пустили по рукам этот пятый номер... Пришлось познакомиться и мне, как бывшему преподавателю.

У меня отлегло на душе, а Федор Александрович добавил:

— Между прочим, если все остальное у тебя на таком же уровне, как в этом рассказе, то за будущую работу можно уже и поручиться...

Он обладал одним из драгоценных человеческих свойств, особенно дефицитных в наш быстротекущий век, — обязательностью. И еще — нелицеприятностью оценок в работе.

Это письмо Ф.А.Абрамова частично уже публиковалось в журнале "Север" (1983, № 4), в нем было несколько строк, лестных для меня, но было и откровенное суждение о недостатках, относящихся к явному "ученичеству". Такие замечания мастеров не проходят бесследно для новичка — знаю на собственном опыте. Отсюда и особая их ценность.

Следующая встреча была более длительной и плодотворной (для меня, во всяком случае), хотя и совершено неожиданной.

Осенью 1966 года редакция журнала "Нева" собиралась сдавать в набор мою повесть "Обратный адрес", и для доработки нескольких заранее оговоренных мест меня вызвали в Ленинград, вне очереди добыв для меня двухнедельную путевку в дом творчества писателей "Комарово", где я мог бы спокойно работать над текстом.

Я там, кстати, мог бы не только заниматься рукописью, но и отдыхать на природе, ездить по репинским местам и ходить к Финскому заливу, сожалея, что попал сюда осенью, а не в пору белых ночей. Но ничего такого я не сделал, потому что в "Комарово", как уже сказано, неожиданно встретился с Ф.А.Абрамовым.

Встреча эта была отчасти и грустноватой — Федор Александрович недавно перенес микроинфаркт и после больницы отдыхал здесь, в отдалении от города, и набирался сил. Но держался он хорошо, бодро и постоянно двигался, ходил своим подчеркнуто широким шагом по песчаным дорожкам, опираясь на темную палку с загнутой рукояткой.

В порядке "невинной беседы" Федор Александрович поинтересовался, как и откуда я брал исторический материал для романа "Ухтинская прорва". Пришлось все-таки вступить в литературный разговор. Я стал, конечно, рассказывать, как искал и подбирал старые газетно-журнальные публикации по этой теме, заговорил об интересных людях — собирателях, хранителях нашей истории, в частности, об одном из таких энтузиастов из Сыктывкара, преподавателе пединститута В.Г.Зыкине, передавшем мне кое-какие архивы и несколько книг дореволюционного издания об Ухте и ухтинской нефти. Но скоро я почувствовал, что "захлебываюсь собой" и отчасти перегружаю товарища. Закончил связанно:

— А вообще — книга так себе... Я как-то уже забыл о ней. Вот хорошие, короткие рассказы писать трудно. Ждешь, ждешь, пока он шевельнется в душе...

— Это хорошо. Надо быстрее терять интерес к старой работе, забывать ее напрочь, чтобы поспеть к новой.

Постепенно самочувствие его улучшалось. А разговоры начали непроизвольно сползать в сторону самую насущную — о современной литературе, друзьях-писателях, журналах "Новый мир" и "Октябрь", полемике между ними.

Однажды он сказал:

— Читал твою статью в дискуссии о рассказе в "Литературной России". Все, в общем, верно, но — напрасно жжешь много пороха вхолостую, на изъезженном и вытоптанном месте.

Я считал очень важной главную мысль статьи о том, что многие авторы даже и не ставят перед собой столь сложной задачи — раскрыть человека, выявить его социальную сущность, эпоху, которую он так или иначе воспринимает через свою судьбу, место в жизни, в обществе, в борьбе и труде...

— Мне казалось, что в моей статье, — сказал я с усмешкой, — все как раз застругано "под Абрамова"...

— Кабы так! — возмутился он. — Искать, найти, предвосхитить товарища — это, пожалуйста, и Бог велел! А тут больше "по первоисточнику", да какому! Прямо по Чернышевскому! Общие места высказываете, сударь. Да еще с видом первооткрывателя. А это не ново, это — азбука. Для писателя, в частности. Подумаешь, новый изобретатель велосипеда!

Он отчасти шутил, но и по сути все было каким-то необидным для меня. Я еще раз убедился, что, будучи почти одногодком многих из нас, он не то что держался, а по существу выглядел куда солиднее, опытнее и как бы старше других. Оттого, что много знал. Недаром ведь в свое время заведовал кафедрой в ЛГУ.

— Пойдем в корпус, возьми в библиотеке статью Чернышевского, — добавил Федор Александрович. — ну ту, где он разбирает повесть Тургенева "Ася". Называется "Русский человек на рандеву". Читал, наверное?

— Читал в школе. В девятом или десятом классе, четверть века назад, — сказал я.

— Хорошо. Но иные вещи надо перечитывать и в зрелом возрасте.

Подумал и добавил:

— Впрочем, и это — общее место. Всем известно, что классиков надо читать и перечитывать много раз.

Вечером я нашел "Избранные статьи" Н.Г.Чернышевского и пробежал названную статью.

На следующее утро я повинился: в газетной дискуссии я в самом деле прошелся по общим местам, хотя, может быть, и невольно.

Федор усмехнулся:

— Неосведомленность? Но незнание законов не освобождает от уголовной или, скажем, гражданской ответственности.

В другой раз он спросил, сосредоточившись внутренне на собственных раздумьях:

— Зачем пишешь? Ну... каков стимул в этой самоистязательной работе? Для тебя лично?

Тут мой южный темперамент забуксовал. Вопрос требовал раздумья, нельзя было выпаливать разом какое-нибудь новое "общее место".

— Не знаю. В общем, стимул не один, их несколько. Главный же, по-моему, стремление высказаться. О жизни, наболевшем, — сказал я.

— Да, сложно ответить, — кивнул он. — Одни говорят: "ради высокого служения", другие — потому, что, де, "не могут иначе", третьи — "ради хлеба насущного" (эти, третьи, по-моему, просто скромняги, каких поискать!). А для меня искусство велико не только тем, что оно способно творить жизнь, создавать образы, а тем, что оно — в целом — придает смысл самому факту человеческого существования. Оно возвышает его над повседневным, будничным существованием, прозябанием среди бытовых мелочей, возвышает до уровня самоценного осознания Человека и человечества в целом. В этом смысле я — человек верующий. Я верю в высокое предназначение человека, в Добро, в те светлые начала души, которые позволяют в любых, самых темных недрах жизни разглядеть человека в человеке...

Мысли о творческом методе и поэзии писателя, как видно, не давали ему покоя в то время. Говорил о снобах, приверженцах и монополистах "формы":

— Какой-то мудрец из древних изрек: "Формы нет, есть мысль!" В этом изречении есть что-то занятное. Не стоит отмахиваться. У снобов и эстетов (на любом уровне) почитается великим шиком как бы отъединяться от повседневности с ее прозаическими заботами, витать "в горних высях" "высокого и вечного", неких неземных чувствах и сферах. На поверку получаются странные вещи. Не зря Есенин возмущался: "Но этот хлеб, что жрете вы!.." и так далее...

Останавливался и размышлял вслух:

— Даже у великих... Жалко отчасти. Иван Алексеевич Бунин, действительно, большой мастер литературы, ведь он мог бы сказать о главном, что "потрясло мир" в начале века. Сказать, как никто! Но нет, только — прошлый дворянский быт, пелеринки и кружевные накидки девушек, темные аллеи, антоновские яблоки и другая ностальгия...

Чувствовалось, что Бунин для него — нечто великое и заповедное, и тем не менее он осмеливался все же спорить с неким "направлением" таланта:

— Ностальгия-то понятно, а что погубило старую Россию? Какой такой бравый поручик Киже продул ее за карточным столом? Какая старая графиня из "Пиковой дамы" разбросала столь страшный пасьянс? Задуматься бы — ну, хотя бы в тех рамках, как у Алексея Константиновича Толстого: "Государь Петр Алексеевич, а не крутенька, не солона ли будет кашка, какую ты завариваешь? Не деткам ли придется ее расхлебывать?.." Но нет, об этом — ни слова... Как, право, не пожалеть!

Добавлял после паузы:

— С этой стороны самый жестокий и честный — Шолохов.

Иногда останавливался где-то на узкой тропе, у темной ели, и неожиданно рассуждал вслух, пристукивая своею палкой:

— Писатель не должен разжевывать и тем более умствовать, его дело — показывать, выделять нечто главнейшее. Вот Толстой. Величина! Изобилие французского языка в начале "Войны и мира" — для чего? Только ли ради пустой подробности? Нет. Сказать прямо о том, что высший класс России перед нашествием Наполеона был космополитичен в определенном смысле и как бы находился "на задворках" Европы, писатель не мог по внешним причинам. Это бы оскорбило двор и всю камарилью. А через прямую речь все это можно было подчеркнуть...

Мы многого еще ждали от Абрамова. И вдруг, как удар грома в ясную погоду, — траурное сообщение, некролог, статьи писателей в газетах и журналах... Горько было, больно. Слишком много утрат за последние годы, и эта — одна из самых тяжелых.

...Держу в руках, перелистываю небольшую, первую посмертную книжку Федора Абрамова "Трава-мурава". Она целиком состоит из миниатюр и трех небольших рассказов. И среди алмазной россыпи деревенских сказов, присловий, афоризмов на одной из последних страниц нахожу один, наиболее подходящий к настроению моему, к минуте, к доброй памяти об авторе: "перед хорошим человеком мы всегда в долгу".

Воистину так.

Мне жалко, что я знал его все-таки мало, на отдалении, — жизнь не часто дарит радость общения с людьми цельными, незаурядными, каким был Федор Абрамов.